

Иллич Иван.

Эссеистика

Статьи для газет и журналов

- [Иллич Иван. Элементы радикальной критики индустриальной системы](#)
- [Иллич Иван. Пропорциональность и современный мир](#)
- [Иллич Иван. Тишина как общинное достояние](#)
- [Иллич Иван. H2O и воды забвения](#)

Иллич Иван. Элементы радикальной критики индустриальной системы

1975, источник: [здесь](#).

Число людей, ежегодно умирающих от голода, с 1970 г. растет в 3 раза быстрее, чем общее население Земли. Еще стремительнее растет количество тех, кто вынужден получать пропитание за счет индустрии, поскольку сами они уже не могут произвести для себя еду. Так называемый прогресс оторвал их от земли, но одновременно и лишил их той альтернативы, которая еще оставалась у типичного горожанина 18-го столетия, поставляя ему значительную часть его пропитания: использование отходов и мусора для разведения кур, кроликов, коз, рыб или овощей. До тех пор признаком неумолимой нищеты было то, что семья зависела в своем пропитании исключительно от торговли, воровства или милостыни. Сегодня горожанин гордится тем, что приносит из супермаркетов слишком обильно и дорого упакованные продукты, в то время как иреть остальных людей ложатся спать голодными, потому что не могут ничего купить. Взаимоотношение между человеком и голодом вступило в новую фазу. Голод нового типа обрушивается на людей, которые стали неспособны к тому, чтобы иметь огород или поросенка. Он служит политически и технологически неизбежной оборотной стороной индустриализации с того момента, как та перешагнула свои переносимые пределы. Речь идет о том, чтобы осознать этот индустриализированный голод как мутацию старого спутника человека и назвать его своим истинным именем.

Массовый голод нередко периодически насильственно уменьшал число жителей той или иной области в рамках окружающей ее среды. Но сегодня происходит нечто совершенно новое, слишком чудовищное, чтобы можно было легко ухватить его значение. Смерть от голода превращается в тормоз дальнейшего роста народонаселения мира, попавшего в зависимость от мирового рынка сельскохозяйственных продуктов. Если до сих пор жертвами голода ежегодно становились не более 5 миллионов человек, то через 5 лет эта цифра возрастет до 50 миллионов, а затем - еще больше. Ни рост урожаев в Канзасе, ни увеличение кредитов, ни применение еще более смертоносных крысиных ядов в Индии не смогут повлиять на эти прогнозы. Только радикальное, всемирное перепланирование, переход от дальнейшей тяжелой механизации к трудосберегающему, но современному сельскому хозяйству, от централизованного планирования к региональной автаркии, от всесторонней зависимости от рынка к экономике самообеспечения на маргинальных ныне почвах - только такой поворот вспять прогресса последних 30 лет смог бы предотвратить

еще более ужасные катастрофы в 90-х годах[1]. К несчастью, эта альтернатива, то есть научно продуманная и подкреплённая политической волей «агрικультура выживания», совершенно немыслима для индустриализированных мозгов большинства менеджеров Всемирной организации по продовольствию. Сделать подобные альтернативы мыслимыми и выступать за их политическое осуществление - таковы две принципиальные задачи общественной критики техники.

Зачастую лишь обращение к истории может вновь заставить представить себе нечто, кажущееся сегодня немыслимым (такое, как частичное самообеспечение продуктами питания). Всего лишь 150 лет назад более 97% всего питания людей поступало с полей, лежащих в пределах видимости с церковной колокольни потребителей.

Для все большего и большего числа людей пропорции сегодня обратные. Не считая «неразвитых» аграрных регионов (все еще больших) и современных «коммун» Китая или Кубы[2], лишь мизерная доля пропитания поступает из непосредственного окружения потребителя. Большая часть доставляется издалека с огромным расходом энергии. На каждый центнер урожая в Калифорнии сжигаются многие килограммы нефти, чтобы обеспечить орошение полей, механическую обработку их и сбор урожая. Еще до непосредственной энергозатратной транспортировки соевых бобов, которыми кормят людей в Бомбее и свиней в Киеве, каждая калория пищевой ценности требует гораздо большего количества горючего по сравнению с энергозатратами, которые падали бы на производство этих же пищевых ценностей при самообеспечении. В перенасыщенных удобрениями почвах Северной Америки один центнер искусственных удобрений повышает урожай лишь на пятую долю того, как мог бы тот же центнер увеличить урожай на многих бедных почвах Азии. Такое современное питание издалека, в конечном счете, совершенно беспомощно против роста голода.

Но еще важнее, чем посредством сравнения с прошлым ввести доиндустриальные истины в рамки постиндустриального планирования, - это сломать табу, которые в настоящее время прикрывают иллюзии о политической нейтральности техники. Как в сельском хозяйстве, так и на транспорте существуют социально-критические дозы энергии. По ту сторону этого порога любая дальнейшая затрата энергии на калорию пищевой ценности может быть лишь контрпродуктивной. Подобно тому, как, парадоксальным образом, по ту сторону порога дальнейшее увеличение скорости отдельного едущего парализующе действует на движение в обществе, точно так же - по ту сторону порога - капиталоемкость в сельском хозяйстве лишь производит больше индустриализированного голода. Только восстановление ограниченного, критически обоснованного и научно разработанного локального самообеспечения продовольствием может открыть выход из уже неминуемой голодной катастрофы.

Мечи еще можно было без проблем перековать на орала и лопаты. Но было бы смертельной иллюзией пытаться превратить в трактора бронированные массы современных армий. Потоки сельскохозяйственных гусеничных тракторов и облака инсектицидов опустошили бы Землю не хуже любого оружия. Не «re-tooling»(поворот) бесцельных капиталовложений, а лишь целесообразное ограничение капиталовложений в производство дает общественно полезный и нужный результат.

За последние десятилетия стало ясно, что внедрение капитальных ценностей в организацию и технику оказывает общественно полезное действие только в определенных границах. В рамках этих границ как уровень техники, так и распределение контроля над производственными благами определяют, на пользу кому пойдет это увеличение производства. За пределами этих границ присущая технике внутренняя динамика навязывает общественным отношениям эксплуататорскую структуру. Лишь пока капиталовложение в определенную отрасль производства удерживается в этих границах, вообще сохраняется возможность политического выбора между капиталистической и социалистической экономикой. По ту сторону этих границ мощь материальных средств производства уже исключает большинство из политического контроля над ними. Орудие может быть общественно целесообразным лишь в определенном масштабе - и то лишь в том случае, если этот масштаб орудия определяется в ходе политического процесса принятия решений.

Мне представляется решающе важным теоретически развить этот тезис и испытать его, применив его к конкретным сферам не только в отношении благ, но и в особенности производства услуг. В моих анализах системы образования, транспорта и медицины речь идет о новом подходе к объяснению, который мог бы одновременно дать оценку трем аспектам современного индустриального общества: во-первых, социально вредному техническому применению научных достижений, во-вторых, неспособности всех признанных экономических теорий объяснить принципиальный характер нарастания вредоносных явлений по краям всех основных производственных сфер и, в-третьих, нехватки творческой фантазии, что позволило превратить действенные принципиальные альтернативы индустриальному обществу в немыслимые табу.

1. Мой анализ прогрессирующего превращения обучения в школу показал, что этот процесс, если его не ограничить, должен привести к возникновению расколота ее образовательные классы меритократии капиталистов знания. Вместо того, чтобы привести к политическому ограничению педагогического гибрида, наш анализ был интегрирован в капиталистическую систему производства и использован для оценки ошколенного обучения. Осознание пределов роста, заложенных в традиционной школьной системе, дало педагогам право спуститься со своих кафедр. Они уже не ограничиваются молодежью, над которой властвуют в стенах школы и которую могут учить ежедневно по будням до 4 часов дня. Учитель, превратившийся в «Воспитателя народа», без ограничений расширяет свои компетенции на рабочее и свободное время и превращает всю жизнь своих питомцев в жизнь несмышленных детей. Х.Даубер в своей книге, вышедшей летом 1975 г., истолковывает этот переход от ограниченного к пожизненному воспитанию как окончательную капиталистическую деформацию общества.

2. Точно так же наш прежний анализ медикализации жизни оказался обоюдоострым аргументом. Можно доказать, что за пределами узких границ институционализация здравоохранения и ухода за больными ослабляет автономную способность людей к приспособлению и реагированию, что вредит здоровью и парализует их способность оказывать политическое воздействие на больное окружение. Но поскольку это указание должно начинаться с доказательства врачебных функций вмешательства и поскольку оно обращено к людям, ощущающим свою зависимость от врача, то этот анализ легко ведет к

слишком поверхностным техническим и политическим реформам врачебной деятельности, придает ей новую обоснованность и обеспечивает ей новый приток капиталов. Вместо того, чтобы вести к ограничению гетерономного лечения, наша критика до сих пор понималась прежде всего как предложение распространить медицинский контроль за больными и на здоровых людей.

3. Мой анализ транспортной системы продемонстрировал, что увеличение скорости транспортных средств, начиная с определенной точки, должно ограничивать пространственные, временные возможности и возможности принимать решения, не говоря уже об эксплуатации большинства людей подгоняющими их комиссарами. Поскольку анализ пришел к выводу, что вероятность социальной эксплуатации начинается со скоростей в пределах 20 км. в час, то его до сих пор так и не приняли всерьез и не интегрировали.

Понимание того, что у любого процесса индустриального производства благ или услуг имеются имманентные границы социальной полезности, все еще не проникло в политическое мышление. В сферах образования, здравоохранения и транспорта удовлетворенные производители и наркотически зависящие клиенты еще смогут, возможно, в течении ряда лет объявлять бесцельную гигантоманию в планировании систем успехом, а лишенные фантазии кибернетики будут истолковывать ее как «контраинтуитивное поведение» больших систем. Однако с продуктами питания так играть и жонглировать уже нельзя. Миллионам людей уже сегодня грозит голодная смерть. Запланировать можно лишь то, кто получит привилегии в смерти. Смертельный голод принуждает нас сейчас вычеркнуть постулаты веры индустриального общества из слепого взгляда нашего мировоззрения. Мнимая естественность этих вроде бы само собой разумеющихся догм сделало эти догмы тривиальными и потому незримыми; сейчас же речь идет о том, чтобы бросить на критический свет и задаться вопросом: в какой мере управление и планирование рыночного товара неизбежно снижает эффективность? Задача социально-критического анализа технических факторов состоит в том, чтобы найти отчет на этот вопрос.

Наше индустриализированное мышление и переживание привели нас к тому, что мы преувеличиваем ценность институционализированных продуктов и таким образом не уделяем внимания социально-политической защите производства ценностей иного рода. Наша вера в то, что большинство потребностей можно удовлетворить с помощью гетерономного[3], однозначно измеримого производства в производственных центрах, привела к относительной недооценке всех тех видов деятельности, результат которых может быть определен автономно и измерен только индивидуально, так что его нельзя превратить в капитал (или это можно сделать лишь в незначительной степени). Социальная оценка любой техники, примененной в той или иной отрасли производства, должна проистекать из этого различия. Это различие служит ключевым понятием для вышеназванных подходов к объяснению, которые должны проявить свою действенность в том, что они могут объяснить не только функции, но и дисфункции индустриальной экономики и поэтому служат указателем, позволяющим превратить нынешнюю безвыходную эскалацию противоречий в поддающийся разрешению кризис.

Различение между автономным и гетерономным способом производства стало труднее, поскольку сам язык теперь смешивает переходное лелание с непереходным действием и путает их. Мы живем в эпоху, когда учение программируется, жилье урбанизируется, транспорт моторизируется, а понимание канализируется. В таком запланированном обществе люди приобретают склонность к тому, чтобы удовлетворять свои конкретные нужды за счет поставок институционализированных продуктов, а не благодаря собственной реакции и собственным усилиям. Они ждут «образования», «перевозки», «лечения», вместо того, чтобы учиться праву отстаивать свой доступ к здоровой окружающей среде. Непереходное поведение лишается экономической ценности, идеологически преуменьшается, и непереходная деятельность пресекается инфраструктурой, ориентированной на потребление. Я «обучаюсь» вместе с одношкольником вместо того, чтобы иметь возможность учить что-то вместе с моим соседом.

Школы производят образование, машины - перевозку, медицина - лечение. Эти услуги или объекты служат массовыми благами, обладающими всеми признаками товаров. Стоимость их производства может быть выражена в деньгах, их нехватка может быть измерена с помощью предельной цены, их можно включить во ВВП общества или выделить из него. Общая стоимость одного километра полета в самолете, общая стоимость высшего образования или общая стоимость колостомии лежат в пределах тех же величин, независимо от того, достаются они клиенту на свободном рынке или как общественная услуга.

Обязательное образование в школе, высокая скорость на транспорте, операция рака в больнице - типичные продукты капиталоемкого способа производства. Любой из этих продуктов конкурирует с не имеющей рыночного значения потребительской ценностью: возможностью изучать, давать, лечить или, в крайнем случае, «страдать». Издавна человек изучал что-либо, слушая, подражая и делая вместе; он передвигается автономно, на своих ногах; он выздоравливает или страдает от болезни, потому что обладает автономной приспособляемостью к среде. Такое учение, давание, выздоровление или страдание не может быть включено в ВВП. Путь, проделанный пешком или на велосипеде, нельзя исчислить в пассажиро-километрах транспортного средства. Пока этим автономно произведенным действиям не приходится вступать в неравную конкуренцию с рыночными индустриальными изделиями, они представляют собой потребительные ценности, которые можно распределить среди населения приблизительно равномерно. Все люди в полную силу учат свой родной язык, если им не навязывается школой куда более трудный письменный язык. В эпоху, когда рыцари и крестьяне передвигались со скоростью ослиного шага, никто не мог иметь таких пре имуществ, какие заложены сегодня в любой транспортной системе. Изучать и ходить - точно так же как рожать, любить или готовить еду воспринимались как ценности, которые могли создаваться большинством членов общества с сопоставимым умением и сопоставимым удовольствием и лишь в особых случаях курьера, проститутки или повара совершались за деньги.

Товары и не предназначенные для рынка потребительские ценности взаимно дополняют друг друга во всех сферах. Эти две формы удовлетворения потребностей находятся, так сказать, на противоположных полюсах спектра. Во все времена технический прогресс увеличивал как производительность автономного производства, так и потенциал

ориентированного на рынок производства прибавочной стоимости (и вместе с тем заинтересованность в эксплуатации рабочей силы). Технический прогресс в принципе повышает синергетическую общую производительность дополняющих друг друга способов производства.

Но когда общество поставило технический прогресс преимущественно на службу индустрии (то есть гетерономному товарному производству), оба взаимодополняющих способа производства все больше стали вступать в конфликт друг с другом. Синергизм автономного и гетерономного производства социально удерживается лишь в рамках определенных пропорций.

Там, где большинство потребностей большинства людей удовлетворяется за счет домашнего, кооперативного или коммунального производства, там разрыв между ожиданием и удовлетворением чаще всего невелик и устойчив. При подобных регионально-автаркических отношениях самообеспечения орудия, применяемые в производстве, определяют потребности, которые и могут удовлетворяться с использованием именно этих средств.

Индустриальная доля совокупного производства остается позитивной, пока благодаря ей соответственно увеличивается и производительность автономного производства. Но в действительности идеологические предрассудки порождают переориентацию общества исключительно в пользу индустриального товарного производства. У этой переориентации 2 стороны: люди приучаются ориентироваться на потребление, а не на действие и в то же самое время пространство для их действий сужается. Структура индустриального орудия делает процесс производства непрозрачным и препятствует обучению наемного работника на рабочем месте. Приученные к ускорению участники движения разочарованно видят, экономящие время велосипеды вытесняются с улиц расходующими время автомобилями. Наемный труд и коммерческие услуги распространяются, и ради их дальнейшего распространения разрушаются условия для автономного производства и личной взаимопомощи. Ожидание экспоненциально взлетает вверх по сравнению с удовлетворением, и в то же самое время синергизм обоих полярных способов производства приобретает негативное значение. Ради гетерономного товарного производства подавляется автономное удовлетворение даже самых элементарных потребностей, и тем самым создается дефицит, который затем мог бы быть компенсирован только за счет ненормального, совершенно невозможного прироста товаров. Традиционная нищета и политическая эксплуатация со стороны собственников орудий переходят в модернизированную нужду и давление со стороны самой технической структуры орудия.

Новая нужда поистине «неизмерима». Способность к производству специфических потребительских ценностей, разрушаемая гипертрофией соответствующего товарного производства, просто не может быть измерена в масштабах ставшей необходимой замены. Масштабы, применяемые в индустриальном обществе, просто не подходят к ценностям, производимым при автономном способе производства.

Общество, чье представление о ценностях затоплено и искажено меновой стоимостью, теряет, таким образом, способность распознать тот порог индустриального роста, за

которым в каждой отдельной сфере синергизм автономного и гетерономного способов производства порождает негативный результат, то есть фрустрацию или разочарование. Наши экономисты в настоящее время ограничиваются тем, что констатируют снижающийся по краям прирост ценностей или перенесение экономических, экологических и социальных издержек из одной сферы в другую при нарастающем общем росте. Для меня же речь идет о том, чтобы распознать тот вред, который имманентно присущ любой отдельной отрасли производства, если технический прогресс идет неравномерно на пользу гетерономному, а не автономному способу производства. Не экспертное знание и технократия, а лишь политическое формирование мнения и политический контроль над техникой могут измерить, насколько растет вред от этого негативного синергизма, и сдержать его.

(Technologie und Politik. Aktuell-Magazin.1. Reinbek bei Hamburg, 1975. S.3-11).

Примечания

[1] Согласно отчету Всемирной организации по продовольствию 1999 г., число людей, не имеющих «достаточного доступа к продуктам питания», достигало в конце 90-х гг. почти 800 миллионов в «развивающихся» странах, 8 миллионов в странах ОЭСР и 26 миллионов в странах, совершающих переход от централизованной к рыночной экономике. (Der Fischer Weltalmanach 2001. S.1273).

[2] В настоящее время в связи с глобальным «переходом к рынку» и эти районы все в большей мере втянуты в коммерческое сельское хозяйство, в результате чего сотни миллионов сельских жителей вынуждены оставить землю и бежать на поиски работы в города.

[3] «Гетерономное» производство - отчужденное производство, производство не для себя, а на обмен. «Автономное» производство - производство ради собственных нужд, самоопределяемое (прим. перевод.).

Иллич Иван.

Пропорциональность и современный мир

1968-1998, источник: [здесь](#)

Фрагменты из работ разных лет

Я рано пришел к заключению, что главным условием атмосферы, благоприятствующей независимости мысли, является гостеприимство, проявляемое хозяином: гостеприимство, скрупулезно исключающее как высокомерие, так и подобострастность; гостеприимство, своей простотой побеждающее и страх плагиата, и боязнь впасть в зависимость; гостеприимство, своей открытостью равно исключающее и запуганность, и чинопочитание; гостеприимство, побуждающее гостей проявлять не меньше великодушия, чем требуется от хозяина. Мне всего этого было отпущено немало, вместе со своеобразным ароматом свободного, порой забавного, а порой гротескного сочетания самых обыкновенных, а иногда и диковинных собеседников, терпеливых друг с другом.

Иван Иллич

Эпоха недееспособности под властью экспертов

Один из способов определить конец эпохи состоит в том, чтобы дать ей подходящее название. Я предлагаю назвать это время эпохой недееспособности под властью экспертов.

Об эпохе экспертов будут вспоминать как о времени, когда политика пришла в упадок, потому что ведомые интеллектуалами избиратели передали технократам всю полноту власти регулировать законодательно потребности, признали за ними авторитетное право решать, кому что нужно, и обеспечили им монополию на средства, с помощью которых они предполагали удовлетворять эти потребности. Будут вспоминать об этом времени как об эпохе школы, когда треть жизни людей тренировали аккумулировать потребности согласно предписаниям, в то время как оставшиеся две трети они проводили как клиенты респектабельных продавцов лекарств, управляющих их зависимостями. Будут вспоминать как о времени, когда поездки в отпуск были организованным ограблением чужаков,

интимность - тренингом по Мастерсу и Джонсону [1]; мнения формировались на основе вчерашнего телевизионного ток-шоу, а политический выбор был чем-то вроде заказа по почте некоторого количества из одного и того же.

Было бы самонадеянностью пытаться предсказать, будут ли вспоминать об этом времени, когда потребности формировались по планам экспертов с улыбкой или проклятием. Что касается меня, то я, конечно, надеюсь, что вспоминать об этом будут как о той ночи, когда отец семьи пропил ее состояние и, таким образом, вынудил детей начать все заново. Вероятнее всего, к сожалению, что о нем будут вспоминать как о времени, когда наша грабительская охота за богатством сделала продажными наши свободы, а политика выражается только как корыстное брюзжание потребителей благосостояния, растворившись в тоталитарном господстве экспертов.

Непреодолимая страсть богатых к искусственно созданным потребностям и парализующая зачарованность бедных недоступными средствами достижения этих потребностей были бы необратимы, если бы люди действительно приспособились жить по смете запланированных потребностей. Но этого не происходит. По ту сторону определенного порога интенсивности медицина производит беспомощность и болезни; воспитание становится причиной неэффективности в распределении труда; быстрые транспортные системы способствуют тому, что городские жители примерно шестую часть своего бодрствования проводят в качестве пассажиров и еще такую же часть своего времени отдают рабскому труду на службе Форда, Эссо, автомобильных налоговых и страховых компаний. Рубеж, на котором медицина, воспитание или транспорт превращаются в контрпродуктивные инструменты, достигнут во всех странах мира, где доход на душу населения не меньше, чем, например, на Кубе. В противоположность иллюзиям, пропагандируемым ортодоксами на Востоке и Западе, во всех странах, которые я исследовал, эта контрпродуктивность ни в коей мере не была связана с принятым в данной стране типом школ, транспортных средств или организаций здравоохранения. Значительно более она определяется и увеличивается по мере того, как капитальная интенсивность производства преодолевает критический рубеж.

Наши крупные институты обладают пугающим свойством превращать в свою противоположность именно те цели, для которых они изначально планировались и финансировались. Под руководством высокоуважаемых экспертов наши институциональные инструменты производят парадоксальную контрпродуктивность, а именно систематически делают граждан недееспособными. В городе, построенном для автомобилей, не остается места для использования собственных ног.

Но почему же не видно сопротивления превращению индустриального общества в единую огромную парализующую систему оказания услуг? Объяснение этому надо искать главным образом в способности этой системы создавать иллюзии.

(Entmündigung durch Experten. Zur Kritik der Dienstleistungsberufe. Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt 1983.)

Политическая критика технологий: самоограничение и пропорциональность

Когда чрезмерное доверие к индустриальному производству товаров и услуг определяет социальное устройство, а промышленность завоевывает виртуальную монополию на применение новых достижений, порабощение человека машиной не устраняется, но спрессовывается в новую всемирно гомогенную форму. Инструмент превращается из слуги в деспота. Сооруженная однажды, эта монополия превращает общественные отношения в школу, в больницу, в тюрьму и в скоростную автомагистраль. Тогда начинается великое заключение. Все зависит от того, чтобы точно определить, где для каждого элемента глобального равновесия находится этот критический порог. Только тогда станет возможно заново выразить эту древнюю триаду: человек, инструмент, общество.

Общество, где современные инструменты стоят на службе у интегрированной в местное сообщество (*community*) личности, а не у конгломерата специалистов, мы можем назвать *convivial society* сообществом.

Когда человек получает удовольствие от такого использования инструмента, я называю его знающим чувство меры. Он понимает то, что по-испански называется *la convivencia* [2] т.е. принимать участие в своем ближнем. Ведь разумная сдержанность не имеет ничего общего с изоляцией, замкнутостью на себе самом или тем более отсутствием фантазии. Для Аристотеля, как и для Фомы Аквинского, она лежит в основе дружбы. Там, где он говорит об упорядоченной и творческой игре, Фома определяет здравомыслие как добродетель, исключаящую не всякое наслаждение, а только то, которое вытесняет или ухудшает личное отношение. Здравомыслие является элементом добродетели, выходящей за его пределы и его включающей: *это радость (jucunditas), эмпатия, дружба.*

Типичный американец посвящает своей машине 1500 часов в год: он сидит в ней, когда она едет или стоит на стоянке, он работает, чтобы ее оплатить, а также оплачивать бензин, шины, дорожные сборы, страховку, штрафы и налоги. Итак, он посвящает своей машине 4 часа в день, неважно, пользуется он ею или нет. Этим не исчерпываются все его действия, ориентированные на движение: есть также время, которое он проводит в больнице, суде или гараже, время, потраченное на просмотр автомобильной рекламы по телевизору, а также на то, чтобы заработать на отпускные путешествия и т. д. Как результат этого американцу нужно 1500 часов, чтобы проехать дистанцию в 10 000 км; значит, на 6 км он тратит 1 час жизни.

Машинному человеку незнакома легкодостижимая радость, заключенная в добровольном отказе от чего-то; он не знает трезвого опьянения жизнью. Общество, где каждый знал бы, что такое «достаточно», было бы, наверное, более бедным, но богатым неожиданностями и было бы свободным. Я определяю здесь его рамки, но не содержание.

(München: Beck 1998. (Beck'sche Reihe 1167). Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt 1980.)

Орудия и целесообразность

...Контроль над силами природы функционален, только если использование природы не делает ее бесполезной для человека. Я уже говорил ранее, что социальные институты функциональны, когда они поддерживают тонкое равновесие между тем, что люди могут делать для себя сами, и тем, что могут делать для них орудия, находящиеся на службе у анонимных институтов. Формальное обучение также зависит от баланса: технология и организованное обучение не должны перевешивать возможностей самоучения. Увеличение социальной мобильности может сделать общество более человечным, но только если в то же самое время сократится разрыв во властных возможностях, отделяющий сегодня немногих от большинства. Наконец, рост темпов обновления ценен только тогда, когда вместе с ними растет укорененность в традиции, полнота смыслов и безопасность.

Орудие может выйти из-под контроля человека, стать сначала его хозяином, а потом и палачом. Орудия могут поработить людей скорее, чем те ожидают: плуг делает человека не только хозяином цветущих полей, но и беженцем от пыльных бурь. Месть природы приносит детей, менее пригодных для жизни, чем их отцы, и они приходят в мир, менее пригодный для них. *Homo faber* может превратиться в «ученика чародея». Специализация способна сделать его повседневную жизнь настолько сложной, что она совсем отделится от его действий. Подобное наркомании пристрастие к прогрессу способно поработить всех людей, втянуть их в гонку, в которой никто не достигнет цели.

Есть два пути развития орудий: в одном машины используются для расширения человеческих способностей, в другом - для ограничения, устранения или замены человеческих функций. В первом человек как личность может осуществлять свою власть и волю, а потому и брать на себя ответственность. Во втором верх берут машины: сначала они сокращают диапазон выбора и мотивации как у оператора, так и у клиента, а затем очень скоро навязывают обоим собственную логику и требования. Выживание человека зависит от установления процедуры, которая позволила бы обычным людям распознавать эти области и свободно выбирать способ выживания; оценивать структуры, встроенные в орудия и институты, чтобы исключать те из них, что деструктивны по самой своей структуре, и контролировать те, что полезны.

Исключение вредоносных орудий и контроль над целесообразными - два главных приоритета для современных политиков. Многочисленные ограничения сверхэффективности должны быть выражены на языке, который был бы одновременно простым и политически эффективным. Решение этой неотложной задачи наталкивается, однако, на три серьезнейших препятствия: идеализация науки, извращение обыденного языка и утрата уважения к формальному процессу, посредством которого принимаются социальные решения.

(Ivan Illich «Retooling Society», CIDOC, 1972.)

Творческая безработица и границы рынка

Монета вытесняет все локальные ценности и идиологов. Деньги обесценивают все, что они не могут количественно оценить.

Люди становятся заложниками похищающего время ускорения, оглуляющего воспитания и травмирующей медицины, потому что зависимость от конституционально гарантированного получения промышленных товаров и экспертных услуг - по достижении некоего определенного порога интенсивности - разрушает человеческие возможности, причем специфическим образом: ибо только до определенного предела товары могут заменять то, что люди делают и производят сами по себе.

Самой значительной привилегией высокого социального статуса сегодня могла бы быть, без сомнения, *свобода полезной безработицы*, все менее доступная огромному большинству населения. Настойчивое стремление человека обладать правом быть обслуженным специалистами и снабженным товарами оборачивается правом промышленников и экспертов ловить себе клиентов, окружать их своими товарами и услугами, окончательно разрушая ту среду, в которой когда-то было возможно существование неоплаченных видов деятельности. Таким образом, парализуется борьба за правильное разделение времени и способности делать что-то с пользой для себя и других вне служебных и оплачиваемых отношений. Работу, выполняемую вне формальных трудовых отношений, начинают презирать или игнорировать. Автономная деятельность угрожает рынку труда, способствует возникновению социальных отклонений и уменьшает совокупный социальный продукт. Слово «работа» становится неподходящим обозначением существа дела. Работа обозначает не большое напряжение или труд, а, скорее, материальную добавку к продуктивным инвестициям в технические сооружения. Работа больше не является созданием некоей ценности, признаваемой работником в качестве таковой, но является «местом работы» (то, что по-английски называется «job»), т. е. особым социальным положением. Безработица несет не свободу делать вещи, полезные для меня или моего соседа. Активная женщина, ведущая хозяйство, воспитывающая детей, иногда еще и не только своих, испытывает дискриминацию по сравнению с женщиной, идущей работать, совершенно независимо от того, насколько полезны или вредны продукты ее работы.

В будущем качество общества и его культуры будет зависеть от статуса его «безработных»: будут ли они продуктивными гражданами своего государства? Ясно, о каком решении или кризисе идет речь. Прогрессирующее индустриальное общество может стать предпринимательским картелем, трудно хромающим вслед за мечтой 1960-х гг. - к «рационализированной» системе распределения между гражданами обесцениваемых товаров и безрадостных рабочих мест, к все большей стандартизации потребления и обесмысливанию труда. Именно такие последствия вырисовываются из политических перспектив большинства современных правительств от Германии до Китая, хотя есть и заметное различие: чем богаче страна, тем актуальнее выглядит задача «рационализировать» рабочие места и предотвратить полезную безработицу, угрожающую

рынку труда. Несомненно, возможен и противоположный вариант, а именно современное общество, где обманутые работающие организуются и защищают человеческую привилегию свободно избирать себе полезное занятие вне производства товаров. Но возможность подобной общественной альтернативы опять-таки зависит от способности простого человека отнестись к претензии экспертов на управление его потребностями по-новому - рационально и скептически.

(Fortschrittsmythen. Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt 1983.)

Школа как «святая корова»

Население Пуэрто-Рико имеет школьное образование. Я предпочитаю сказать не «образованно», а «имеет школьное образование». Пуэрториканцы не могут больше представить себе свою жизнь без ее связи со школой. Потребность в образовании сегодня заменяется необходимостью посещать школу. Пуэрто-Рико приняла новую религию. Ее учение утверждает, что образование - это продукт школы, продукт, который можно определить с помощью чисел. Есть цифры, показывающие, сколько лет ученик проводит под руководством учителей, в то время как другие цифры отражают процент верных ответов на экзамене. С получением диплома образовательный продукт приобретает рыночную стоимость. Так, в технократическом обществе посещение школы, как таковое, гарантирует принятие в круг дисциплинированных потребителей, как в прежние времена посещение церкви гарантировало принадлежность к сообществу верующих. От губернатора до *jibaro* [3] сегодня Пуэрто-Рико признает идеологию своих учителей, как она когда-то признавала теологию своих пасторов. Школа сегодня приравнивается к образованию, как прежде церковь приравнивалась к религии.

Смысл образования заключается в развитии, формировании независимого познания жизни и тесно связан с тем, что накопленные в совместной жизни людей памяти делаются доступными и полезными. Институт образования является для этого центральным элементом. Он предполагает место человека в обществе, где каждый из нас бывает разбужен к жизни удивлением; место встреч, в котором другие люди удивляют меня своей свободой и позволяют мне осознать мою свободу. Если университет хочет оказаться достойным своей традиции, он должен быть таким институтом, чьи цели понимаются как воспитание свободы и чья автономия основывается на доверии, полагаемом общественностью в использовании этой свободы.

Наша надежда на спасение лежит в способности удивляться иному. Да не разучимся мы вновь и вновь переживать удивление! Я давно уже решил для себя, до последнего часа моей жизни и в самой смерти все еще надеяться на удивления.

(Klarstellungen. Pamphlete und Polemiken. Aus dem Englischen von Helmut Lindemann. Mit einer Einleitung von Erich Fromm. München: Beck 1996. S. 13-25. (Beck'sche Reihe 1151).)

«Немезида медицины». О границах здравоохранения

Французская революция породила два глубоких заблуждения: врачи могут заменить духовенство, и общество путем политических преобразований может вернуться в состояние исходного здоровья. Болезнь стала публичным делом. Во имя прогресса она не имела больше права оставаться делом самого больного.

В 1792 г. Национальное собрание в Париже несколько месяцев обсуждало вопрос о том, как заменить врачей, извлекающих прибыль из ухода за больным, терапевтической бюрократией, которая занялась бы этим злом более эффективно - вплоть до его полного исчезновения после установления свободы, равенства и братства. Новых пасторов предполагалось финансировать из секуляризованных церковных владений.

В то время заканчивается эпоха домашнего лечения. Повсюду в обществе границы размываются. Общество в целом превратилось в клинику, а граждане - в пациентов, чье кровяное давление регулярно контролируется и регулируется, чтобы оно было в нормальных «пределах». Трудности с рабочей силой, финансами, организацией и контролем терапевтических учреждений, которые возникают повсеместно, можно трактовать как симптом нового кризиса в понятии болезни. Речь идет о настоящем кризисе, допускающем два противоположных решения, которые сделали бы сегодняшнюю больницу неупотребительной. Первое решение состоит в дальнейшей и способствующей увеличению болезненности медикализацией здравоохранения, которая продолжит закрепление власти цеха врачей над населением. Второе заключается в критической, научно обоснованной демедикализации понятия болезни.

Книга «Немезида медицины» начиналась с обвинения: «Официально принятая медицина превратилась в серьезную опасность для здоровья». Теперь с трудом верится, что в 1974 г. эта фраза могла шокировать и сердить. Сегодня это банальность. То, что тогда было авангардом, президент Клинтон принес в Белый дом. Американский конгресс взялся судить, представляют ли ценность фундаментальные исследования, и 2300 физиков именно так потеряли работу. Конгресс уволил их, потому что удовлетворение любопытства ученых по поводу ускорения частиц не могло называть какую-нибудь общественную пользу. Хиллари Клинтон близка к тому, чтобы попробовать в секторе здравоохранения то, что я предлагал политикам в «Немезиде медицины», а именно «восстановить контроль над медицинскими открытиями, теориями, процессами принятия решений». А если так, то почему мне так тяжело перечитывать мою книгу?

Я сожалею, что важная и ключевая мысль об искусстве болезни и умирания была мной сформулирована в категориях, годящихся для редукционистской потери понимания телесности. В «Немезиде медицины» я аргументировал, что роль в возбуждении болезни играет стремление к здоровью, как оно определяется в культуре позднеиндустриального общества. Я тогда не понимал, что еще болезненное стремление к здоровью в эпоху системного менеджмента разовьется в своего рода многослойную эпидемию. Я говорил о

здоровье, не задумываясь о категориях личной автономии, и обозначал ее как «уровень способности справиться». Я понимал здоровье как «ответственное действие в соответствии с социальным сценарием», где режиссером выступает некий «культурный код, соответствующий генетическому составу, истории и окружению группы». Я хотел объяснить поколению, которое увлеклось стремлением к здоровью, что человеческое *conditio* выражало в том числе и то, что человечество на протяжении всей истории «страдало». Тогда я еще находился под влиянием Грегори Бейтсона и верил, что такие понятия, как обратная связь, программа, анализ или информация, будучи разумно примененными, могут внести ясность в эти вещи.

Сегодня я знаю, что не следовало так просто говорить об искусстве страдания, потому что этим я дал возможность компьютерному поколению детей думать о «саморегулировании». Я не предусмотрел появление статей в три метра длиной в журнальных магазинах, где будут продаваться физическая культура, эмоциональное равновесие, развитие восприятия и сознание просто как результат «саморегулирования».

(*Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt 1981.*)

«Немезида медицины»: новое послесловие к изданию 1995 г.

«Немезида медицины» представляет собой одно из четырех моих эссе, посвященных исследованию того, как современная технология производит самоочевидность определенных видений. Каждый из текстов имеет в качестве демонстрационного объекта одно из больших предприятий новейшего времени, таких, как школа, транспорт и планирование. Я избрал примером медицину в состоянии, характерном для 1970 г., чтобы поговорить о парадоксальном противоречии целей и средств. Я не хотел представить медицину в виде «мальчика для битья», я также не покушался на план медицинской реформы. Здравоохранение дало мне возможность показать три различные в основе формы контрпродуктивности: техническую, социальную и культурную. Я хотел исследовать в этой книге то, что объединяет медицину с другими институциональными предприятиями: попытку устранить искусство жизни и страдания, заменив их технологией производства удовлетворения. Я писал против перехода, оркестрованного медициной, стремления к здоровью в парадигму некоей мегатехнологии, позволяющей обойтись без *Conditio humana*.

Четверть века спустя я все еще остаюсь доволен сущностью и стилем книги. Она положила начало технической дискуссии о контрпродуктивности, а также об историчности наших потребностей. Но была у нее и другая заслуга: эта книга помогла вернуть дискуссию медицины в плоскость философии. Я оказался прав, сконцентрировавшись на традициях медицинского подхода к искусству страдания как профилактики против тогда еще не вполне распознанной эпидемии системно имманентной биоэтики.

Но я нахожу также ошибочное при повторном чтении книги. Тогда я понимал «здоровье» кибернетически - как «меру, в какой люди справляются со своими внутренними состояниями

и внешними условиями». Когда я писал это, я еще не осознавал, какое бессмысливающее действие в скором времени окажет системно-аналитическое мышление на понимание ощущений и представлений. Я не понимал также, что мои формулировки будут способствовать неправильному пониманию здоровья как саморегулирующего процесса управления. Мне еще предстояли десять лет исследований и ряд семинаров совместно с Барбарой Дуден, посвященных истории восприятия смысла, проблемам пола и дружбе. По этой причине я обеспокоен тем, что большая часть заказов на «Немезиду медицины» - на многих языках - является в настоящее время коллективными заказами для медицинских факультетов. Книгу читают как пример того, что чувственно познаваемое тело можно «снять со счета», понимая себя как саморегулирующуюся и самоконструирующуюся систему, и *вопреки* этому лишению телесности утверждать, что находишься в рамках традиции, которая принимает важность искусства страдания и искусства умирания.

(Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt 1981.)

Зеркало для американцев: помощь и насилие (1968 г.)

Внутреннее побуждение совершать добро - это особая американская черта характера. Только североамериканцы уверены, что они в любой момент времени должны, имеют право и могут отыскать кого-либо, на кого могло бы снизойти их благодеяние. Эта установка приводит в конечном итоге к тому, что людей принуждают принять дары с помощью бомбардировки.

В начале 1968 г. я настойчиво пытался разъяснить некоторым моим друзьям в США этот образ американцев за границей. Я говорил в основном с оппонентами правительству, которые были заняты подготовкой марша на Пентагон. Я хотел, чтобы они разделили со мной тяжелую заботу: обеспокоенность, что окончание войны во Вьетнаме позволит «ястребам» и «голубям» объединиться для новой воинственной борьбы - на этот раз «против бедности в «третьем мире».

Сразу же вслед за деньгами и оружием на любом театре военных действий появляется американский идеалист: учитель, доброволец, миссионер, общественный управляющий, экономический помощник. Эти люди понимают свою роль как служение. В действительности же они часто в итоге бывают заняты только тем, чтобы смягчить ущерб, нанесенный деньгами и оружием, или соблазнить «недоразвитых» прелестями мира благосостояния и успеха. Они - это те, для кого «неблагодарность» является горькой наградой. Они воплощают вопрос старого, доброго Чарли Брауна: «Как можно проиграть, если ты так честен?»

Путь к бедности вымощен «технической помощью». В результате двадцати лет международной помощи в развитии сегодня в мире больше чем когда-либо людей, чьи жизненные ожидания никогда не смогут быть осуществлены.

Неосознанное стремление - нереальные «потребности» превращаются в осознанные требования. Наши программы помощи принесли большинству людей «запланированную бедность».

(Klarstellungen. Pamphlete und Polemiken. Aus dem Englischen von Helmut Lindemann. Mit einer Einleitung von Erich Fromm. München: Beck 1996. S. 13-25. (Beck'sche Reihe 1151).)

Пол, род и язык

Я обнаружил, что ключевые слова характеризуются стремлением радикально исключать род. Поэтому понимание рода и его отличие от пола зависят от этой тенденции к исключению или чрезвычайно экономному использованию слов, могущих быть ключевыми.

Я попал в двойное гетто языка, когда начал писать это эссе. Я не мог найти слова, традиционно звучащие как «род», но также не хотел употребить их с расхожим сексистским призывом. Я осознал эту сложность, когда захотел использовать более ранние версии данного текста в лекциях 1980-1982 гг. Никогда еще прежде столько друзей и коллег не пытались отговорить меня от темы, которой я начинал заниматься. Некоторые считали, что мне стоит уделять меньше внимания тривиальным, двусмысленным или предосудительным темам, другие настаивали на том, что в ситуации современного кризиса феминизма мужчинам не подобает говорить о женщинах. Чем внимательнее я вслушивался, тем более мне казалось, что большинство моих собеседников чувствуют себя неуютно в этой теме. Мои аргументы разрушали их мечты: феминистскую мечту о полово-нейтральной экономике без принуждения к половым ролям, «левую» мечту о политической экономии, состоящей из универсальных и равных человеческих субъектов, футуристическую мечту о современном обществе пластичных людей, где совершенно все равно, кем человек решает быть - зубным врачом, мужчиной, протестантом или генным манипулятором. Мой вывод о том, что дискриминация женщины характеризует любую экономику, заставлял их мечты лопаться, потому что выраженные в них желания были сотканы из одной материи - полово-нейтральной экономики.

Индустриальное общество не может существовать без определенных постулатов унисекса. Мужчины и женщины созданы для одинаковой работы, они воспринимают одинаковую действительность, у них с небольшими косметическими отклонениями одинаковые потребности. Фундаментальная предпосылка всех национальных экономик, а именно ограниченность товаров, базируется на тех же постулатах унисекса. Конкуренция между мужчиной и женщиной за рабочие места была бы невозможна, если бы работа не определялась как деятельность, свойственная человеку без различия пола. Субъект, на котором основана экономическая теория, в этом значении - бесполое человеческое существо. До тех пор пока признается теория ограниченности товаров, распространяются также постулаты унисекса.

Под социальным родом я понимаю связанную с местом и временем двойственность, отличающую мужчину и женщину в отношениях друг от друга, не позволяющую им говорить, делать, восхищаться или воспринимать одинаково. Под экономическим или

социальным понятием пола я, напротив, понимаю двойственность, питающую претензию на возможность достижения иллюзорной цели экономического, политического или социального равенства мужчины и женщины. В сконструированной таким образом действительности равенство является чаще всего фантастическим образованием.

(Aus dem Englischen von Ruth Kriss-Rettenbeck und Barbara Duden. München: Beck 1995. (Beck'sche Reihe 1105).)

Текст как инструмент познания

Когда среди ученых и святых церкви Бернар ссылается на источник, он, как правило, приводит его по памяти. Поколение Альберта и Фомы уже может пользоваться справочными материалами, а после их смерти их собственные произведения лежат в библиотеке и привязаны к кафедре как справочный материал. Это позволяет автору XIII в. подтверждать свои тезисы ссылками на оригиналы. Он может полистать и открыть любое место. Он овладевает лежащей перед ним памятью.

Авторы раннего Средневековья переняли у римлян мнемотехнику, искусство представлять себе свою память как постройку. В разные комнаты этой постройки говорящий мысленно помещал символы, обозначающие написанные или выученные им параграфы. В потоке речи оратор мог зайти в эти покои и вызвать любой текст из памяти. Об этой мнемотехнической постройке еще напоминает своей архитектурностью книжная живопись раннего Средневековья. В XIII в. принцип запоминания воплотился в структуре библиотеки. В скором времени это были уже не только произведения данного монастыря, стоящие в алфавитном порядке. Первые сборные каталоги возникают после основания университета. Еще позже, чем библиотечные полки, возникла структурная организация самой рукописи. Деление строк на слова стало само собой разумеющимся. Ветхий Завет был поделен на главы и стихи. Но прошло тысячелетие, прежде чем Священное Писание стали цитировать в соответствии с этим кодом. Августин, стремясь помочь читателю ориентироваться в его объемном «Граде Божиим», дал им бревикулус - краткое изложение отдельных частей книги. В новые копии классиков некоторые переписчики позднего Средневековья вводили названия глав. Чтобы облегчить отцам церкви доступ к текстам евангелистов во время проповеди, еще Евсевий составил конкорданцию из Евангелия.

Искусство отнесения к Священному Писанию и его комментаторам с самого начала отличало христианских авторов от языческих. Но техника цитирования и сверки по тексту развилась только во время перехода к схоластике. Уже в VI в. Кассиодор экспериментировал с ключевыми словами. Он выписывал ключевые слова по ходу текста на полях. Исидор первым применил также названия глав в своем произведении. Но только в середине Средневековья утвердилось единое деление Библии на главы, за несколько столетий до деления ее на стихи. В XIII в. уже существуют предметные регистры со ссылками на все Священное Писание. До указания на число страниц, конечно, было еще далеко. Для этого нужно было дождаться, когда печатный лист графически зафиксировал текст и независимые от содержания номера страниц стали ориентиром.

Письменные тексты зримо состоят теперь в пространственных отношениях друг к другу. Внутри текста определенные элементы выделены, цитируемые места подчеркнуты цветом. Глаз привыкает двигаться от книги к книге и от текста к примечанию. Не строка, а весь текст лежит теперь перед читателем.

Медитация, о которой пишет Гуго, - это интенсивное деятельное чтение, а не пассивное квиетическое погружение в чувства. И эта деятельность представлена по аналогии с движениями тела: как шагание от строчки к строчке или как взмах крыльев, когда пролистываешь уже знакомую страницу. Гуго видит чтение как моторную активность тела.

В соответствии с традицией, насчитывающей полтора тысячелетия, шевелящиеся губы и язык вторят страницам, как эхо. Уши читателя внимательны и стараются изо всех сил ухватить то, что выражает его рот. Так последовательность букв преобразуется непосредственно в движениях тела и структурирует нервные импульсы. Строчки как фонограмма, записанная ртом и воспроизводимая читателем для собственного уха. Страница во время чтения буквально поглощается читающим.

Современный читатель воспринимает страницу как пластинку, снабжающую его разум знаками. Он ощущает свое сознание как экран, на который проецируется страница и откуда ее можно удалить нажатием кнопки. Для читателя-монаха, к которому в основном обращается Гуго, чтение есть не такая фантазмагоричная, а, скорее, телесная деятельность. Он говорит или записывает строчки, качаясь в такт им.

Клирик воплощает наглядный пример того, к чему призваны все, поскольку они живут в одном мире, в котором, как говорит Гуго, нет ничего не имеющего значения. «Природа говорит во всех своих созданиях о Боге. Во всех своих проявлениях природа учит человека. Во всех своих проявлениях природа производит разум, и в совокупности вещей нет ничего неплодотворного». Книга творения охватывает мир по обе стороны монастырской стены. И светские искусства, и Священное Писание повествуют о Божьем произведении. При переходе от монастырской книги к схоластической с читателем также происходят радикальные изменения.

Монастырский читатель - «бормотун» - отрывает слова от строк и создает звуковой форум. Все те, кто разделяет вместе с читателем звуковую среду, равны перед произнесенным. Не имеет значения, кто читает, как не имеет значения, кто звонит в колокол.

«*Lectio divina*» [4] всегда литургический акт, перед лицом кого-либо, Бога, ангелов или кого-либо на расстоянии слышимости.

Примечательным образом спустя пятьдесят лет после Гуго ситуация уже изменилась. Технический акт расшифровывания уже не создает аудиторию, а следовательно, и социальное пространство. Теперь читатель пролистывает книгу. Его глаза отражают два измерения страницы. Скоро он будет воспринимать свой разум по аналогии с манускриптом. Чтение станет индивидуалистической деятельностью, отношением между самим собой и страницей.

Гуго написал свои «De institutione» и «Дидаскаликон» в то время, когда этот переход наметился, но еще не начался. Его размышления об акте чтения и его значении венчают традицию, выросшую из столетий. И все-таки Гуго серьезно способствовал тому, чтобы вызвать интеллектуальное землетрясение. Гуго «открывает» универсальную обязанность посвящать себя учению. Тем самым он подводит итог средневековой практики, в которой *lectio divina* есть задача не только клира.

Чену употребляет слово «землетрясение». Мне представляется здесь «книготрясение», грохот которого уловил Гуго. Он предполагает назидательное обучение как новый идеал, как гражданский долг в противоположность универсальной учености как праздному обращению с книгой.

Разумеется, это еще не те условия, при которых всеобщая обязанность уметь читать и писать стала основополагающим идеалом современного общества. Со временем чтение стало необходимым для апологетического священнописания, для политического памфлетирования, а позже для технологической компетентности. Когда впоследствии, значительно позже, был сформулирован идеал всеобщей грамотности, навык чтения был признан необходимым «для всех»; он был необходим для включения в письменную культуру, являвшую собой противоположность монастырскому образу жизни. От нового определения читателя, начавшего формироваться уже во времена Гуго, оставался один шаг до представления о способности читать как предпосылке гражданского статуса, как это принято в нашем столетии.

Когда переворачивается страница в истории алфавита, невольно начинаешь рассматривать как клирика того, кто способен разобраться в новой форме книжной страницы и умеет пользоваться новым индексом, предоставляющим доступ к ней. Изученное им искусство письма делает его «церковником», будь он священник в услужении епископа, княжеский юрист, писарь в ратуше, бенедиктинец, нищенствующий монах или университетский учитель. Старое социальное деление разграничивало клир - священников епископа, занятых в попечении души и в литургии, и «народ» (включая его специализированных созерцательных читателей текстов - монахов). Новый позднесредневековый тип общественного дуализма различает грамотных и тех, кто ими не является. Новая техника чтения и письма, завоевывающая место в XII в., немедленно монополизирована писцами. Они называют себя знатоками письменности в отличие от простых любителей, слушателей написанных слов.

Новые схоластические писцы скрывают этот разрыв. Они ссылаются на свою связь со священниками прежних времен и перенимают их церковный статус вместе с привычными привилегиями. Так, например, мошенник или бродяга, схваченный в XIII в. за тяжкое преступление, мог сослаться на иммунитет клира для защиты от жестокого наказания, если мог доказать, что он в состоянии расшифровать и написать несколько предложений. Такой человек подлежал церковному суду и мог избежать пыток или, по крайней мере, позорной казни через колесование.

(*Luchterhand Essay 1991.*)

Экономика, этика и соразмерность (proportionality)

В этом году ежегодные шумахеровские лекции были организованы в честь Леопольда Кора. Еще и сегодня его поняли лишь немногие; все еще нет теоретической школы, которая продолжила бы его социальную морфологию. Поставить его имя среди других лидеров альтернативной экономики значило бы предать его посмертно. Всю свою жизнь Кор трудился, закладывая основы для академической дисциплины экономики (economics); его не интересовал поиск новых способов планирования и распределения недостающих товаров. Он определял условия, при которых добро не воплощается и вязнет в вещах, которых всегда не хватает. А значит, он трудился ради ниспровержения конвенциональной экономической мудрости, сколь бы продвинутой она ни была. <...>

Экономика исходит из дефицита. А потому имеет дело с ценами и расчетами. Она не может рассматривать товар, который подошел бы данному человеку в его конкретных условиях. Где правит дефицит, там этика урезается до чисел и полезности. И человек, занятый манипулированием математическими формулами, постепенно утрачивает слух к этическим оттенкам, становится нравственно глухим.

Этика, в мощной традиции от Аристотеля до МанDEVИЛЛЯ, предполагала наличие в обществе разногласий о пользе, к которой надо стремиться, оставаясь человеком, и пусть неохотно, но ее принимать. Экономика же требует оценки желательных целей на основе допущения о дефиците. Она имеет дело с оптимизацией ценностей; это ведет к созданию современного *экономического общества*, которое якобы обеспечивает неограниченные ресурсы для технологической цивилизации. Такая цивилизация пытается трансформировать человеческое состояние, а не обсуждать природу пользы. <...>

У греков было представление о «тоносе», который можно понимать как «справедливую меру», «разумность» или «соразмерность». Чтобы понять, как сложились эти смысловые категории, надо посмотреть на историю этого слова. Здесь я хотел бы - особенно в свете новых предложений по налогообложению энергоресурсов в США - взглянуть на «тонос» как на основу для понимания космических отношений в западной мысли; не менее важно оно и для двухтысячелетней традиции осмысления себя и мира. Можно видеть, что, если общее благосостояние не основано на тоносе - определенном напряжении, соразмерности между людьми и природой, идея налогообложения энергоресурсов вместе с другими экономическими альтернативами соскальзывает в адаптивный утилитаризм, системоориентированное техническое управление или дипломатичную болтовню об охране окружающей среды.

За сотню лет до Французской революции соразмерность как руководящая или ориентирующая идея, как условие нахождения собственной позиции человека была утрачена. И до сих пор эта утрата едва ли признана в истории культуры. Соответствие между верхом и низом, правым и левым, макро и микро было интеллектуально осознано (при поддержке чувственным восприятием) к концу XVII в. Соразмерность служила

путеводной звездой и для освоения собственного тела, другого человека и отношений полов. Пространство понималось просто как знакомый космос. Космос означал упорядоченность отношений, в которые изначально поставлены вещи. Для этой соотнесенности, напряженности или склонности вещей друг к другу, их тона у нас теперь нет слова. Нельзя даже вообразить опыт Данте, появляющегося из ада и радующегося гармонии четырех новых звезд, переместившихся в царство справедливости, умеренности, силы духа и благоразумия (Чистилище, Песнь I). Сегодня человек ограничен позитивистскими символами научной парадигмы. <...>

Музыка обучает искусству соразмерности; она умеряет гордость, придает устойчивый смысл умеренности. Возможность опозориться служит гарантом надлежащего сочетания разумности и желания. Музыка была смешением красоты, правды и совершенства, звуком, отражающим космос - не сугубо внутренний и не сугубо внешний, не представляющий чисто эстетический стандарт или абстрактное моральное правило, - и прививавшим слушателю особое поведение и позицию, ухватывавшие природу звуков, свойственных дорическому характеру, приличных диалекту, свойственному именно этому, и только этому, месту в системе отношений.

(*The Wisdom of Leopold Kohr*, Fourteenth Annual Schumacher Lectures, Yale University, 1994.)

Гостеприимство и научная мысль

Просвещенное и располагающее к досугу гостеприимство - единственное противоядие от омертвевшей учености, приобретаемой в профессиональном стремлении к объективно надежному знанию. Как и прежде, я уверен, что поиск истины невозможен вне атмосферы взаимного доверия, перерастающего в верную дружбу. Поэтому я и пытаюсь определить атмосферу, благоприятствующую дружбе, и тот «кондиционированный» воздух, который способствует ее росту.

Конечно, я помню сильные ароматы других периодов моей жизни. Я никогда не сомневался, а сегодня еще более уверен в том, что дух «монашеского» служения есть важнейшее условие независимости, необходимой для предъявления исторически обоснованных обвинений обществу. Только бескорыстная преданность друзей может позволить мне предаться аскетизму, требуемому для современных квазипарадоксов, таких, как отрицание системного анализа при одновременном печатании на «Тошибе».

Я с самого начала подозревал, что проект (*studium*), которому я решил себя посвятить, требует определенной атмосферы, и это подозрение переросло в уверенность благодаря моим контактам с американскими университетами в эпоху, наступившую после запуска первого спутника. Я проработал всего год в качестве проректора университета Пуэрто-Рико, когда мы с несколькими коллегами захотели выяснить, как развивается идеология, к которой в равной мере примкнули и Кеннеди, и Кастро. Я вложил все средства, которые у меня тогда были, - что сегодня эквивалентно премии, которую вы мне только что вручили, - в покупку однокомнатной деревянной лачуги в горах, с видом на Карибское море. Мне нужно было место, где бы каждое использование личного местоимения «наше» - как мною,

так и тремя моими друзьями - поистине относилось бы именно к нам четверым, но было открыто и для наших гостей: я стремился к решительному воздержанию от «мы», обеспечивающему безопасность под сенью академической науки: мы как социологи, экономисты и др. Как выразился один из нас, Чарли Розарио: «Все департаменты пахнут дурно - в лучшем случае дезинфекцией... и яды стерилизуют ауру». Эта лачуга по дороге на Аджунту очень скоро вызвала такое осуждение, что я вынужден был покинуть остров.

Это побудило меня заняться основанием «мозгового центра» в Мехико, который через пять лет превратился в Центр межкультурной документации, или CIDOC. Во вступительном слове на сегодняшнем торжестве Фраймут Дув рассказал вам об этом. В те далекие годы Дув был редактором *Rowohit Publishers*, он занимался публикацией моих книг в Германии и несколько раз приезжал ко мне в Куэрнавака. Он рассказал вам только что о духе этого места, его атмосфере взаимно умеряющей сдержанности. Именно эта аура, это свойство или воздух позволили этому эфемерному предприятию стать мировым перекрестком, местом встречи всех, кто задолго до наступления нынешней моды усомнился в безвредности «прогресса». Только этой атмосферой, о которой говорил Дув, можно объяснить непропорционально большое влияние этого маленького центра в постановке серьезных вопросов относительно преимуществ социально-экономического развития.

...Как ученый я был сформирован монастырской традицией и толкованием средневековых текстов. Я рано пришел к заключению, что главным условием атмосферы, благоприятствующей независимости мысли, является гостеприимство, проявляемое хозяином: гостеприимство, скрупулезно исключающее как высокомерие, так и подбострастность; гостеприимство, своей простотой побеждающее и страх плагиата, и боязнь впасть в зависимость; гостеприимство, своей открытостью равно исключающее и запуганность, и чинопочитание; гостеприимство, побуждающее гостей проявлять не меньше великодушия, чем требуется от хозяина. Мне всего этого было отпущено немало, вместе со своеобразным ароматом свободного, порой забавного, а порой гротескного сочетания самых обыкновенных, а иногда и диковинных собеседников, терпеливых друг к другу.

(Philia: Выступление И. Иллича в Бремене.)

Примечания

[1] Известные американские сексологи.

[2] Совместная жизнь, сосуществование (*исп.*).

[3] Крестьянин (*ам. исп.*).

[4] Чтение Священного Писания и молитвенное размышление (*лат.*).

Иллич Иван. Тишина как общинное достояние

1982, источник: [здесь](#).

Компьютеры делают с общением то же, что изгороди сделали с пастбищами, а машины с дорогами

Я с радостью принял приглашение выступить на этом форуме, посвященном Науке и Человеку. Предложенная тема, "Общество управляемое Компьютером" будит тревогу. Вы предполагаете, что машины, которые человек внедрил во все сферы своей жизни, теперь заставляют человека действовать как машина. Новые электронные устройства обладают властью, которая позволяет им диктовать людям способы общения между собой в терминам межкомпьютерного взаимодействия. То, что не укладывается в машинную логику успешно отфильтровывается из культуры, в которой властвуют машины. Роботоподобное поведение людей связанных с электроникой приводит к деградации их личности и становится невыносимым. Наблюдения губительных последствий программной окружающей среды показывают, что под ее воздействием люди становятся бездеятельными, самовлюбленными и аполитичными. Политические процессы в обществе нарушаются, поскольку люди теряют способность управлять собой; теперь они требуют, чтобы ими управляли.

Я преклоняюсь перед вашими усилиями по достижению нового демократического согласия, в рамках которого более семи миллионов читателей высказали заинтересованность в ограничении вторжения машинного стиля в их собственное поведение. Очень важно, что именно Япония инициировала эту акцию. Япония выглядит столицей электроники и это было бы потрясюще, если она показала бы всему миру пример самоограничения в сфере коммуникаций. На мой взгляд такое самоограничение совершенно необходимо, если люди хотят сохранить собственное управление.

К электронному менеджменту как к вопросу политики можно подойти несколькими путями. Я предлагаю в начале наших общественных консультаций рассмотреть этот вопрос точки зрения политической экологии. В последнее десятилетие термин "экология" приобрел новый смысл. По прежнему он означает название одного из направлений профессиональной науки биологии. Однако теперь этот термин часто обозначает и общественный подход к анализу последствий принятия тех или иных технических решений.

Я хочу сосредоточиться на последствиях внедрения электронный менеджмента в среду нашего существования. Для того, чтобы эта среда сохранила свою жизнеспособность и благотворность требуется политическогий и экспертный контроль. Я постараюсь обосновать мой выбор политической экологии.

Я бы хотел отделить понятие окружающей среды, как общинного достояния, от понятия окружающей среды как ресурса.

Наша способность отделять эти понятия зависит не столько от успехов теоретической экологии, но в значительной степени от нашей экологической культуры и компетентности. Я нахожусь перед аудиторией, экологическую культуру которой формировал дзен-поэт, великий Басе. Перед этой аудиторией мне предстоит рассказывать о разнице между общинным, в которое встроена жизнь людей, и ресурсами, которые используются для экономического производства продуктов. Если бы я был поэтом, то, возможно, я выразил бы это отличие так чудесно и прозрачно, что оно бы проникло в ваши сердца и осталось бы там незабвенным. Но, я не японский поэт. Я говорю с вами на английском языке, который за последние сто лет утратил способность воспроизвести это отличие. Более того, я вынужден говорить через переводчика.

"Commons" - "Община" - старинное английское слово, сходное по значению с японским словом *igiai*. Оба эти слова в преиндустриальную эпоху описывали определенные аспекты окружающей среды. Люди называли общинными те элементы своего природного окружения, по отношению к которым законы устанавливали особые формы общественного уважения.

Люди называли общинной ту часть окружающей среды, которая лежала за порогом их дома и не являлась их личным владением. Они осознают ее необходимость не для производства товаров, но для естественного поддержания домашнего хозяйства.

Отдельные законы, которые определяли использование окружающей среды, устанавливая ее общинность, как правило, были неписаными. Они оставались неписаными, не только потому что люди не заботились об их написании, но и потому, что предмет охраны был слишком сложным для того, чтобы выразить его в параграфе закона. Общинные законы регулировали право на дороги, на охоту и ловлю рыбы, на сбор хвороста и лекарственных растений в лесу.

Дуб должен быть общинным - он давал тень жарким летним днем, его желудями питались свиньи окрестных крестьян, его сухими ветвями топили печи, некоторые его весенние побеги использовались для украшения церквей, а на закате под дубом собирались деревенские компании.

Когда люди говорят об общинном, они подчеркивают такие ограниченные компоненты своей окружающей среды, которые необходимы для выживания всего сообщества, которые разными группами людей используются в различных целях, и которые в экономическом смысле не считаются редкими.

Когда я использую этот термин в среде европейских студентов, то мои слушатели немедленно относят его к 18-му веку. Они думают об английских пастбищах, на который каждый житель пас несколько своих овец и о "перегородке пастбищ", которые превратили поля из общинной собственности в ресурс, из которого можно было извлекать коммерческую прибыль.

Прежде всего, однако, они думают об изобретении частной собственности, которая пришла вместе с заборами, об абсолютном обнищании крестьян, которые были выгнаны с земли и стали наемными рабочими и они думают о коммерческом обогащении помещиков. В своей спонтанной реакции мои студенты думают о становлении нового капиталистического порядка.

Вспоминая прежде всего об этом, они забывают, что постройка заборов связана с более глубокими причинами. Перегораживание общинной собственности устанавливала и новый экологический порядок. Перегородка не просто физически передавала контроль над пастбищами от крестьян к помещику. Она отмечала радикальное изменение в отношении общества к своей среде обитания.

До этого, в любой юридической системе большая часть среды обитания рассматривалась как общинное достояние, в котором большинство людей находили средства к существованию, без необходимости вступать в рыночные отношения. После перегородки окружающая среда стала рассматриваться, прежде всего, как ресурс, обслуживающий "предприятия", которые, используя наемный труд, превратили природу в товары и услуги, которые удовлетворяют нужды потребителей. Эта трансформация выпадает из поля зрения политической экономики.

Это изменение может быть лучше проиллюстрировано если мы будем думать не о полях, а о дорогах. Что составляло разницу между старыми и новыми районами Мехико всего двадцать лет назад? В старой части города улицы были по настоящему общинным достоянием. Какие то люди выходили на улицу торговать фруктами и углем. Другие выставляли на улицу стулья, чтобы выпить здесь чашечку кофе или рюмочку текилы. Третьи устраивали здесь собрания, чтобы выбрать главу местного управления, или установить цену на осла. Четвертые пропихивались со своими ослами через толпу, отправляясь за дровами. Пятые сидели в тени. В канавах играли дети.

На фоне всего этого люди продолжали использовать дорогу для того, чтобы попасть из одного места в другое. Эти дороги не были построены для людей. Как и всякая настоящая общинная собственность, дорога была результатом того, что на ней жили люди и делали это место пригодным для своей жизни. Жилища, которые окружали дорогу не были частными домами в современном понимании этого слова - гаражами для ночного хранения рабочих. Стены домов разделяли два жизненных пространства - одно личное, интимное, а второе - общинное.

Но ни личное пространство дома, ни общинное пространство улицы не пережили экономического развития. В новых районах Мехико улицы уже не предназначены для людей. Теперь это проезжие дороги для автомобилей, автобусов и такси. Людей терпят только если они следуют к своей автобусной остановке.

Как только они сядут или остановятся, они станут препятствием для уличного движения и движение становится для них опасным. Дороги деградировали из общинного достояния в простой ресурс для перемещения транспорта. Люди уже не могут перемещаться самостоятельно. Уличное движение уничтожило их подвижность. Они перемещаются только

сидя внутри движущихся объектов.

Присвоение пастбищ помещиками было заметным и вызывающим, но более фундаментальная трансформация пастбищ (или дорог) из общинной собственности в ресурс до недавнего времени не становилось объектом критического рассмотрения. Присвоение окружающей среды несколькими людьми было распознано и расценено как недопустимое. В противоположность этому, еще более вредоносная трансформация людей в производственные силы и в потребителей, воспринималась как должное.

Почти столетие большинство политических партий считали недопустимой передачу природных ресурсов в частные руки. Однако, вопрос всегда рассматривался в терминах частного использования этих ресурсов, а не в плане их общинной значимости. В связи с этим, даже антикапиталистические политики до последнего времени не подвергали сомнениям законность трансформации общинного достояния в ресурс.

Только недавно некоторые мыслители начали осознавать, что же произошло. Перегородки отобрали у людей право на окружающую среду, право, на основе которого на протяжении всей предшествующей истории базировалась моральная экономика выживания. Принятие перегородок переопределило общество, подчеркнуло его локальную автономию.

Перегораживание общинного производилось не только в интересах капиталистов, но и в интересах профессионалов и государственной бюрократии. Перегородки позволили бюрократии определить и объявить местные сообщества бессильными и неспособными обеспечить свое собственное существование. Люди стали экономическими индивидуальностями, выживание которых зависело теперь от товаров, которые производились для них. Большинство городских протестных движений отражало недовольство против переопределения людей и их перевода в разряд потребителей.

Вы хотели, чтобы я говорил об электронике, а не о полях и дорогах. Но, я историк, я хочу сказать сначала об том общинном, которое я знаю по прошлому, с тем чтобы потом сказать что-то о настоящем.

Человек, который выступает перед вами, родился 55 лет назад в Вене. Через месяц после рождения меня посадили на поезд, а потом пересадили на корабль, который привез меня на остров Брач. Там в деревне мой дедушка мечтал дать мне свое благословение.

Мой дедушка жил в доме, в котором его семья жила еще с тех времен, когда Мурوماши правил в Киото. С тех времен в этих местах на Далматинском побережье сменились многие правители - Венецианские дожи, султаны Истамбула, Австралийские императоры и короли Югославии.

Но, многочисленные смены униформы и языка губернаторов острова мало изменили повседневную жизнь за эти 500 лет. Те же оливковые стропила поддерживали крышу над домом моего деда. Вода с крыши по прежнему собиралась и стекала по каменному желобу. Вино давили все в тех же чанах и рыбу ловили все с тех же лодок, и масло снисходило с деревьев, которые были посажены в дни молодости Эдо.

Мой дед получал новости дважды в неделю. Новости привозил пароход раз в три дня. Иногда сторожевой корабль - тогда новости шли пять дней. Когда я родился, для людей, которые жили вдалеке от основных путей, история продолжала течь медленно. Большинство окружающей среды все еще оставалось в общинном пользовании.

Люди жили в домах, которые они сами построили; передвигались по улицам, которые были отполированы ногами их животных; они были автономны в использовании своей воды; могли положиться на свой голос, когда им хотелось говорить.

С моим приездом на остров все изменилось. На том же корабле, который привез меня, на остров привезли первый громкоговоритель. Только немногие люди тогда слышали такую вещь. До этого дня все женщины и мужчины говорили голосами примерно одной силы. После этого все изменилось. Теперь доступ к микрофону определял, чей голос будет усилен. Тишина перестала быть общинной; она стала ресурсом, которую заполнял громкоговоритель. Сам язык трансформировался из местного общинного достояния в национальный ресурс для коммуникации. Как загороди помещиков повысили национальную производительность через запрет индивидуальному крестьянину держать свои несколько овец, так и появление громкоговорителя разрушило тишину, которая прежде давала возможность каждому высказаться своим собственным голосом.

Пока вы не имеете доступа к громкоговорителю, вы молчите. Точно так же как ранима и уязвима общинность пространства, которая может быть разрушена моторизованным уличным движением, уязвима и общинность речи, которая может быть разрушена вторжением современной коммуникации.

Вопрос, который я предлагаю обсудить должен быть ясен: как остановить вторжение новых электронных устройств и систем в ту область общинного, которое более нежно и более интимно в нашем существовании, чем даже поля и дороги - та область общинного, которая столь же значимая как тишина. И в западной и в восточной традиции молчание необходимо для проявления человека. Оно забирается у нас машинами, которые подражают людям. Наша речь и наше мышление могут попасть в зависимость от машин так же, как от машин уже зависит наше перемещение.

Такая трансформация окружающей среды от общинного достояния к промышленному ресурсу создает фундаментальную форму деградации природного окружения. Эта деградация имеет длительную историю, которая во многом совпадает с историей капитализма, но не может быть к ней сведена. К сожалению, важность этой трансформации до сих пор не оценена политической экологией.

Это должно быть осознано, если мы хотим организовать движение в защиту того, что еще осталось общинным. Эта защита является главной задачей общественности в 80-е годы. К решению этой задачи надо приступать немедленно, потому что общинное достояние может существовать без полицейского надзора, а вот ресурсы не могут. Так же как и уличное движение, даже в большей степени и в еще более изощренной форме, компьютеры требуют полицейского надзора. Любые ресурсы по определению требуют полицейской защиты. А уж после того, как что-то попадает под полицейскую защиту, вернуть его в общественное

достояние невероятно сложно. Это должно послужить нам отдельный основанием, для того чтобы торопиться.

Иллич Иван. H₂O и воды забвения

1985, источник: [здесь](#).

Известно, что в течение последних 70 лет часть жителей Далласа требует устроить посреди города озеро. Горожане надеются, что водами этого озера будут питаться финансы и фантазия, торговля и здоровье. Особая комиссия исследует вопрос, осуществимо ли устройство подобного искусственного водоема в городской черте. В эти исследования Далласский институт гуманитарных наук и культуры хотел бы внести и свой вклад: нам предстоит обдумать взаимосвязь Воды и Сновидений - постольку, поскольку эта связь участвует в том, "чем города живы". Сны всегда формировали города, а города навевали сны, вода же служила живительной силой как для городов, так и для снов. Я не думаю, что еще осталась та вода, которая могла бы связать город со снами. Индустриальное общество превратило H₂O в такую субстанцию, с которой архетипическая водная стихия уже не способна образовать смесь. Соответственно, моя лекция разделена на две части. Первая посвящена сновидческим водам Леты, вторая - истории смывного бачка. В заключение я вернусь к исходному вопросу - способно ли воображение выжить среди рукотворных вещей, утративших способность отражать бездонные воды сновидений и грез.

В эпоху барокко князь немецкого города Касселя окружил свой замок английскими садами, умевшими разговорить воду до самого ее дна. Вода не только открывалась зрению и осязанию - она говорила и пела на семнадцать разных ладов. Так и воды снов: они бормочут, разливаются, журчат, режут, сочатся, плещут, текут - они вас омывают и могут унести прочь. Они падают дождем сверху и колодезной водой поднимаются с глубины; могут окропить, могут вымочить насквозь. Из всех чудодейственных способностей воды я выбрал ее способность очищать: способность Леты смывать воспоминания и способность H₂O смывать нечистоты.

Сны производят катарсис, иначе говоря - очищают, а вода сновидений может очищать несколькими способами. Окропление святой - очистительной - водой устраняет скверну: эта вода избавляет от проклятия, возвращает чистоту оскверненному месту, возливается на руки, голову или ноги, чтобы смыть нечистоту, вину, кровь. Но есть и другой катарсис, на который способны только воды Леты: воды Леты избавляют того, кто их пересекает, от воспоминаний и дарят забвение. Поскольку у меня всего тридцать минут, я ограничусь катарсисом Леты. Тем самым вопрос о планируемом городском озере резко сужается: может ли духовная река забвения, впадающая в социальный водоем памяти, отразиться в очищенном дезинфектанте, который течет через счетчики, стоки, трубы и вливается в открытый городской бассейн? Утолит ли ребяческие сны города о "забвенье и покое" жидкость, текущая из кранов, душей и туалетов? Могут ли очищенные сточные воды

"циркулировать" по фонтанам или озерам, отражающим сны?

Очистительные воды Леты *текут*; они не *циркулируют* подобно крови, деньгам и сточным водам, пропитавшим социальное воображение ранней индустриальной эпохи. В 1616 году Уильям Гарвей сообщил Лондонскому колледжу врачей, что кровь циркулирует по человеческому телу. Лишь через столетие идея Гарвея вошла в практическую медицину. Еще в 1750 году Иоганн Пелагиус Шторх, авторитетный создатель восьмитомного курса гинекологии, отказывался признать универсальность теории Гарвея. Он допускал, что у англичан кровь течет по телу и вымывает отходы жизнедеятельности; но у его пациенток, жительниц Нижней Саксонии, течение крови подчинялось не циркуляции, а приливам и отливам. Шторх понимал то, что пытаемся сейчас понять мы, - представление о крови как о циркулирующем агенте требует социальной перестройки тела. Трепетную и насыщенную символами плоть традиции предстояло превратить в функциональную систему фильтров и трубок. К концу XVIII века теория Гарвея получила в медицине всеобщее признание. Концепция интенсивной циркуляции крови как первопричины здоровья соответствовала пониманию денежной циркуляции как первопричины богатства у меркантилистов - прямых предшественников Адама Смита.

В середине XIX века несколько британских архитекторов начали говорить о Лондоне в рамках этой же парадигмы и регулярно признавали свой долг "бессмертному Гарвею". Они понимали город как социальный организм, по которому должна непрерывно циркулировать вода, ежесекундно вымывая из него грязь. Вода должна непрерывно вливаться в город, чтобы вымывать оттуда пот и нечистоты. Чем интенсивнее этот поток, чем меньше резервуаров, питающих "самозарождающуюся заразу", тем здоровее будет город. Если бы вода не втекала постоянно в город и постоянно его не покидала бы по акведукам, то такой, созданный в воображении, город непременно загнил бы. Подобно тому, как Гарвей создал нечто прежде непредставимое - а именно, кровь как агента циркуляции и тем самым тело современной медицины, так и Чэдвик и Уорд и их коллеги, создав канализацию, изобрели город в качестве места, постоянно нуждающегося в очистке. С тех пор город - подобно телу и экономике - будет постоянно изображаться как система труб.

Историю H₂O как воплощения архетипической воды можно написать несколькими способами. Мой предмет - промышленная деградация воды, делающая это вещество сноупорным, неспособным служить материей нужных нам метафор. В данный момент я могу лишь утверждать, что "вода", в отличие от "H₂O", - это исторический конструкт, отражающий - и в хорошем и в плохом - текучую стихию души, и что связанная с H₂O вода социального воображения очень далека от воды, к которой мы стремимся в наших снах. Современная городская вода постоянно пересекает границы города: она приходит в город в качестве товара и уходит из него в виде сточных вод. Во всех индоевропейских мифах, напротив, сама вода есть граница. Она отделяет наш мир от другого мира; она отграничивает мир живущих сейчас людей от мира прошлого или от мира загробного. В многочисленном семействе индоевропейских мифов у иного мира нет фиксированного положения на мысленной карте: он может быть расположен и под землей, и на вершине горы, и на острове, и на небесах, и в пещере. Но где бы иной мир ни находился, он всегда лежит по ту сторону какой-то водной преграды: иногда за океаном, иногда на другом берегу залива; иногда нужен паром, иногда брод. Но во всех мифах этот путь, ведущий

через воду, уже в ином мире приводит к источнику, а этот загробный источник питается той самой рекой, которую пересек путник.

Брюс Линкольн показал, что в греческих, индийских, германских, кельтских повествованиях о паломничестве в загробный мир человек проходит через один и тот же унылый ландшафт, с общей для всех традиций гидрологией. Медленно текущие воды, через которые переправляется паломник, - это воды реки забвения. Тех, кто через нее переправляется, река лишает памяти. Сомнамбулическое битье по голове в треносе, которым плакальщицы убаюкивают фиванских героев в их последний сон, напоминает Эсхилу о монотонном битье веслами по Ахерону. Однако смытое рекой с переправляющихся в иной мир не исчезает: с путника совлекаются те деяния, по которым его будут помнить. Река уносит их к источнику, где они бурлят как песок на дне космического колодца, чтобы служить питьем для избранных: певца, сновидца, ясновидца, мудреца. Это питье приводит человека в трезвое опьянение - "sobriam ebrietatem". Посредством этих вестников, вернувшихся из своих снов или путешествий, ручеек живой воды из царства мертвых возвращает мертвым ту память, в которой они уже не нуждаются, но которая представляет огромную ценность для живых. Поэтому мертвые зависят от живых намного меньше, чем живые - от мертвых. Смытое Летой с их стоп бьющий ключом кладезь Мнемозины возвращает к жизни.

Когда Небо еще лежало в объятиях Земли, когда Уран еще делил ложе с "широкогрудой" Геей, на свет появились Титаны. В этом родившемся раньше богов поколении была и Мнемозина. Она слишком давняя, слишком архаичная богиня, чтобы быть матерью Аполлона, но она наделяет его, сына Майи, душой, которая всегда находит обратный путь к истоку, которая никогда не забывает. Таким образом, у Гермеса-Аполлона две матери, что, видимо, и превращает его в проводника и вестника богов. Гимн к Гермесу называет Мнемозину матерью Муз. Гесиод упоминает ее струящиеся волосы, описывая, как она возлегла с Зевсом, чтобы родить ему дочерей. Она сама есть озеро, в котором купается Муза Энтузиазма, то есть Божественной Одержимости, и другая ее дочь - Забвение. Появление Мнемозины среди Титанов, предшествующих богам, - ключевой эпизод в истории нашей воды. Оказавшись среди Титанов, космическая стихия становится источником памяти; кладезем культуры, родником первогорода - и вода как источник памяти приобретает женские черты.

Однако этому архаическому кладезю устной традиции не нашлось места в классических городах. Классические города Греции и, самое главное, Рима построены вокруг акведуков, подводящих воду в фонтаны. Не питающий озеро кладезь, не эпический певец, но рукотворные струи воды и письменные тексты, доверенные книге, формируют теперь потоки воды и слов. Ни один греческий город не сохранил алтаря или колодца, посвященного Мнемозине. Ее по-прежнему призывают ученые поэты, желающие приблизиться к Гомеру. Но Мнемозина перестала быть источником трезвого опьянения. Теперь ее имя - символ амбаров ученой памяти, которая, как понимал еще Платон, приведет к высыханию прежней памяти, то есть родника за рекой забвения, то есть озера, питаемого этой пограничной рекой. Память, сестру Титанов и мать Гермеса, вытесняет новый вид памяти - точно так же, как письменная культура вытесняет устную, а законы - обычное право.

Переходя от кладезя к струе, от озера памяти к скульптурному фонтану, от эпической песни к памяти эрудита, вода как социальная метафора претерпевает первую глубокую трансформацию. Воды устной культуры, текущие за пределами нашего мира, превращаются в самый ценный вид провизии, которой правительство снабжает город. Если бы выдался случай, я написал бы историю форм и смыслов, которые меняющееся восприятие воды придавало городу. В такой истории фонтаны Рима, водопроводы Исфагани, каналы Венеции и Теночтитлана предстали бы редкими и вершинными творениями. Город, построенный вдоль реки, город, сооруженный вокруг колодца как некоего пупа, город, зависящий от дождевой воды, собираемой на крышах, стали бы идеальными типами в числе прочих. Однако, за редкими исключениями, все города, куда вода специально доставлялась издалека, до недавнего времени имели одну общую черту: все, что акведук приносит внутрь городской границы, поглощается городской почвой. Идея, что вода, по водопроводу доставленная в город, по канализационным трубам должна его покинуть, стала руководящим принципом для градостроительства лишь тогда, когда в обиход вошел паровой двигатель. И с тех пор эта идея приобрела черты неотвратимости - даже теперь, когда канализация нередко ведет на фабрику переработки. То, что производят и порождают эти фабрики, от воды сновидений стоит дальше, чем когда-либо. Потребность городов в непрерывной уборке и мойке окончательно навязала эту идею воображению планировщиков. Чтобы ослабить чары этого социального конструкта, я предлагаю вспомнить, как эти чары были напущены.

Сетования на городскую грязь начинают раздаваться еще в античности. Даже по Риму, с его девятью сотнями фонтанов, было опасно ходить. На краю форума под зонтиком сидели мелкие чиновники, в обязанности которых входило разбирательство по жалобам людей, пострадавших от вылитых из окон помоев. Средневековые города чистили свиньи. Сохранились десятки указов, регулирующих право бюргеров содержать свиней и кормить их общественными нечистотами. Вонь кожевенных мастерских служила эмблемой ада. Тем не менее можно точно установить период, когда в городе начали видеть место, которое необходимо дезодорировать постоянной уборкой, - это отношение появляется в раннем Возрождении. Возникшая в это время потребность скрести и отмыть прежде всего имеет в виду устранение не зрительных уродств, а отвратительных запахов. Впервые город как таковой начинает восприниматься как дурно пахнущее место. Впервые формулируется утопия города без запахов. И насколько я могу судить, причина этой озабоченности городской вонью - скорее перемены в чувственном восприятии, нежели рост концентрации газов с характерным запахом.

История чувственного восприятия возникла не вчера, но лишь недавно некоторые историки начали обращать внимание на эволюцию обоняния. Первым указал на верховенство осязания, обоняния и слуха в европейской культуре до Нового времени Роберт Мандру в 1961 году. Это сложное и смутное переплетение трех чувств лишь постепенно сменилось тем "просвещенным" господством зрения, которое мы считаем самоочевидным. Припадая к губам возлюбленной, какой-нибудь Ронсар или Рабле наибольшее наслаждение извлекает из их вкуса и запаха. Написать историю запахов - дело крайне трудное, но увлекательное: поскольку запахи не оставляют никаких "объективных" следов, историку остается изучать только их восприятие. В прошлом году Ален Корбен выпустил монографию, впервые излагающую перемены в восприятии запахов в конце "старого режима".

Мне традиционный запах города знаком по личному опыту. В течение двадцати лет я много времени проводил в трущобах Рио и Лимы, Карачи и Бенареса. Мне понадобилось много времени, чтобы преодолеть привитое с колыбели отвращение к запаху человеческого дерьма и мочи, который, с легкими национальными вариациями, заставляет все индустриальные города третьего мира пахнуть одинаково. Но то, к чему я в конце концов привык, - лишь слабое веяние по сравнению с густой атмосферой Парижа при Людовике XIV и Людовике XV. Лишь в последний год его царствования было издано распоряжение, сделавшее уборку фекалий из коридоров Версальского дворца еженедельной процедурой. Под окнами Министерства финансов десятилетия подряд забивали свиней, и стена дворца пропиталась кровью на несколько дюймов вглубь. Даже кожевники продолжали работать в черте города - правда, на берегу Сены. Было вполне в порядке вещей справлять нужду под стенами любого жилища или церкви. От неглубоких захоронений на городских кладбищах шел смрад. Эта атмосфера считалась настолько нормальной, что в сохранившихся источниках о ней почти не упоминается.

Обонятельному благодушию пришел конец, когда небольшая часть горожан утратила иммунитет к смраду из захоронений внутри церквей. Нет никаких свидетельств того, что со средних веков хоть как-то изменились сами процедуры захоронения тел у алтаря, однако в 1737 году парижский парламент назначил комиссию для выяснения опасности, которую представляют эти тела для общественного здоровья. Миазмы, идущие из могил, были объявлены вредными для живых. В течение десяти лет трактат аббата Шарля-Габриеля Поре, библиотекаря Фенелона, был переиздан несколько раз. В своей книге этот богослов доказывал, что и философские и юридические соображения требуют, чтобы мертвые покоились за чертой города. По мнению Филиппа Арьеса, новая обонятельная чувствительность к присутствию трупов возникла благодаря новому типу страха смерти. Начиная с середины XVIII века сообщения о том, как люди умерли от одного только трупного смрада, становятся регулярны. От Шотландии до Польши смрад разлагающихся тел вызывает не просто отвращение, а страх. Сохранились свидетельства якобы очевидцев того, как в течение часа после вскрытия могилы для нового захоронения от трупных миазмов умирали сотни прихожан. Если в 1760-е годы на кладбище Невинных днем приходили для пикников, а ночью - для любовных свиданий, то к 1780 году оно было закрыто по требованию публики из-за нестерпимого смрада разлагающихся тел.

Нетерпимость к вони фекалий развивалась гораздо медленнее, хотя первые жалобы на этот счет раздаются уже в 1740-е годы. Сначала внимание к этой теме привлекли филантропически настроенные ученые, изучавшие "воздухи" - сегодня мы сказали бы "газы". В то время инструменты для анализа летучих веществ были еще очень грубыми; еще не был открыт ни кислород, ни его роль в процессе горения и окисления. При анализе исследователям приходилось полагаться на собственный нос. Но это не помешало им издавать трактаты о городских "испарениях". Известно около двух десятков таких брошюр и книг, вышедших с середины XVIII века до воцарения Наполеона. В этих трактатах обсуждаются семь пахучих точек человеческого тела, лежащих между теменем и пальцами на ногах; выделяются семь запахов разложения, сменяющих друг друга при гниении животных тел; неприятные запахи подразделяются на здоровые - например, человеческих и животных испражнений - и гнилостные и вредные; читателя учат уловлять запахи в склянку для последующего сопоставления и изучения их эволюции; оценивается вес испарений,

приходящийся на одного городского жителя, и последствия их переноса - по воздуху - в городские окрестности. Озабоченность смрадными испарениями выражает почти исключительно узкая группа врачей, философов и журналистов. Почти каждый автор сетует на то, что широкая публика равнодушна к проблеме удаления этих "дурных воздушных" из города.

К концу века авангард дезодораторов уже может рассчитывать на поддержку небольшого, но влиятельного городского меньшинства. По нескольким причинам социальное отношение к телесным отходам начинает меняться. Аудиенции у короля, сидящего на стульчаке (en selle), были отменены уже два поколения назад. В середине века впервые сообщается, что на большом бале для женщин были устроены отдельные нужники. И наконец Мария-Антуанетта приказала навесить дверь, чтобы испражняться в уединении, тем самым превратив испражнение в приватную функцию.

Сперва сама процедура, а потом и ее результат были убраны от чужих глаз и от носа. В моду входят белье, которое можно часто стирать, и биде. Сон на простынях и в отдельной постели получает теперь моральное и медицинское обоснование. Вскоре стали запрещать тяжелые одеяла, поскольку они задерживают пары организма и ведут к поллюциям. Медики обнаружили, что запах больного заражает здоровых, и отдельная больничная койка сделалась если и не нормой, то идеалом. Затем, 15 ноября 1793 года, революционный Конвент в числе прочих прав человека торжественно провозгласил право каждого на отдельную постель. Личное пространство в постели, на стульчаке и в могиле становится частью полноценного гражданского статуса. Создаются благотворительные общества с целью избавить бедняков хотя бы от одного из новых ужасов - захоронения в общей могиле.

Одновременно с новым гигиеническим воспитанием буржуазии социальная гигиена самого города стала главной урбанистической проблемой. С начала XVIII века тюрьмы и скорбные дома, с их особенно нездоровыми условиями, стали во многих странах предметом внимания. По сравнению с тамошней грязью сам город казался чистым. Высокую смертность в тюрьмах возводят к тамошней вони, ощутимой даже на расстоянии. Изобретают вентилятор и устанавливают несколько первых моделей, чтобы подавать свежий воздух - по крайней мере, туда, где содержались невинные узники. "Проветривание" заключенных представлялось необходимым, но его было трудно организовать. Поэтому несколько городов от Швейцарии до Бельгии перенимают идею города Берна - сочетать удаление экскрементов и проветривание заключенных с помощью новой машины. Это была телега, которую тянули закованные мужчины и к которой женщины были прикованы более тонкими и длинными цепями, позволявшими им свободно двигаться по мостовой, убирая нечистоты и мертвых животных. Город уподобляют организму - и у того, и у другого есть свои пахучие точки. Запах начинает восприниматься как признак социального класса. Бедняки - это те, кто пахнет, часто даже не сознавая этого. Осмология - изучение запахов - пытается утвердиться в качестве независимой научной дисциплины. Проводятся эксперименты, якобы доказывающие, что дикари пахнут иначе, чем европейцы. Самоеды, негры, готтентоты - все они отличаются специфическим запахом, не зависящим ни от того, чем они питаются, ни от того, сколько они моются.

С этого времени хорошее воспитание - это прежде всего опрятность: ни сам человек, ни его дом не должны пахнуть. К началу XIX века женщины обзаводятся собственным индивидуальным ароматом. Этот идеал возник в последние годы "старого режима", когда сильные и традиционные ароматы на животной основе - серая амбра, мускус, цибетин - сменились туалетной водой и растительными маслами. (Понятная у выскочки любовь Наполеона к старой традиции привела к краткосрочному возврату дорогих животных жиров из гениталий грызунов; но к эпохе Наполеона III их употребление сделалось признаком распутства.) Теперь дама из общества тешила свой нюх растительными ароматами - они обладают намного большей летучестью, чем животные, и поэтому их нужно часто возобновлять, они пропитывают домашнюю обстановку и становятся знаком показного потребления. Теперь Эмиль Руссо узнает, что "благоухание не столько дает, сколько сулит". Раздельные, с зеркальными стенами, кабинеты - один для крана, другой для сточной раковины, - которые в 1750 году, к замешательству французов, привезла из Англии оперная певица мадемуазель Дешан, два поколения спустя стали частью богатого обихода. И пока богачи слегка душились растительными маслами, а не такие богатые все усерднее мылись и учились оставлять башмаки за дверью, главной задачей медицинской политики стало дезодорирование бедного большинства.

В первой половине XIX века англичане уже начали мыть свои города - и загрязнять Темзу. Во Франции и вообще на континенте общественное мнение еще не готово к такому расточительству. Французский Институт в докладе от 1835 года отвергает предложение сливать парижские экскременты в Сену. За этим решением стояла не забота о реке и не предубеждение против английских выдумок, а оценка огромных экономических потерь. Даже двадцать лет спустя редакторы "Журнала медицинской химии" ссылаются на Мальтуса и социальную физиологию, чтобы доказать, что канализация экскрементов - преступление против общества. Ранее предлагалось выплачивать пенсии по старости только тем горожанам, кто будет ежедневно собирать удобрения. С появлением железных дорог возникла надежда, что с их помощью город станет удобрять сельские окрестности, превращая их в цветущий сад.

К 1860-м годам две национальные идеологии относительно ценности сточных труб противостояли друг другу через Ла-Манш. Французскую позицию облек в превосходную литературную форму Виктор Гюго. После восклицания Камбронна¹ "la merde" (дерьмо) считалось чем-то очень французским и очень коммерчески ценным. В "Отверженных" оно питает "утробу Левиафана". Спору нет, пишет Гюго, парижская клоака последние десять веков была язвой города, но "L'égout est le vice que la ville a dans le sang" (клоака - это порок, который у города в крови). Всякая попытка сливать больше нечистот в подземную сеть только увеличила бы и без того невероятные ужасы городской клоаки. Кто хочет жить в городе, должен смириться с его смрадом.

Противоположную позицию - с верой в высокую ценность канализации и низкую ценность экскрементов - занял в 1871 году принц Уэльский, будущий король Эдуард VII. Если бы я не был принцем, сказал он, я бы хотел стать слесарем. Приблизительно в то же время Хеллинджер убеждал своих коллег по Королевскому обществу искусств: "В ваших сильных руках лежит, на ваших крепких мышцах сладко дремлет, в ваших умелых пальцах покоится здоровье этого Левиафана среди городов!" Этому английскому взгляду дает французскую

литературную форму Жюль Верн в своем романе: "Чистить, непрестанно чистить, уничтожать миазмы сразу, как они возникнут от человеческого скопления, - вот главная и первоочередная задача центральных правительств". Пот трудящихся классов был опасен, если он пах.

Чтобы дезодорировать Лондон, английские архитекторы предложили использовать воду. Еще в 1596 году сэр Джон Харрингтон, крестник королевы Елизаветы I, изобрел ватерклозет и издал трактат "Метаморфоза Аякса"², но для большинства это устройство оставалось лишь забавной диковиной. Затем в 1851 году Джордж Дженнингс устроил общественные ватерклозеты в Хрустальном дворце на Всемирной выставке, и 827 280 человек, то есть 14 % всех посетителей, их опробовали и заплатили за их использование. Это "удобство, соответствующее высокой ступени нашей цивилизации", усовершенствовал некий мистер Крэппер, владелец литейной мастерской. Предохранительный клапан смыва - "anus mirabilis" (чудесный анус)- был запатентован в Англии, и с тех пор английское слово "ватерклозет" стало неотъемлемой частью всех культурных языков. Согласно отчету правительства США, Балтимор был последним городом в северо-восточных штатах, производившим удобрения "естественным образом" и перешедшим на обязательный смыв только в 1912 году.

К концу XIX века бактерии фекального происхождения начали просачиваться в водопровод. Инженеры оказались перед выбором: пустить ограниченные экономические и организационные ресурсы на очистку сточных вод или на фильтрацию водоснабжения. В первой половине века акцент делался на стерилизации воды. Незадолго перед тем прежняя теория грязи, объяснявшая болезнь как результат порчи внутри организма, сменилась новой бактериальной теорией, согласно которой организму постоянно угрожают вторжения микробов. Горожане требовали прежде всего подачи "питьевой воды без микробов" в домашние краны. Позже, к середине века, то, что течет из крана, из жидкости без запаха превратилось в жидкость, которую не всякий решался пить. Трансформация H₂O в чистящую жидкость завершилась. Общество могло обратиться к "очищению" канализации и спасению озер. В США сбор и переработка нечистот и отходов к 1980 году стала самой большой расходной статьей местного самоуправления. Больше стоили только школы.

Я думаю, что архаическим грекам с помощью ритуальных омовений обычно удавалось устранить скверну. Наша попытка отмыть город от дурных запахов, очевидно, провалилась. Я ночевал в Далласе в шикарном клубе: флаконы с ватными тампонами распространяли парализующий обонятельные нервы мощный анестетик, маскируя неудачу самого дорогого водопровода, какой можно купить за деньги. Дезодорант заглушает обоняние своего рода "розовым шумом". Наши города стали местом исторически беспрецедентной вони. И мы стали так же нечувствительны к этому загрязнению, как парижане в начале XVIII века - к трупам и экскрементам.

Мы рассмотрели воды истории от архаической Греции до экологического водопровода. Мы взглянули на римские фонтаны, смывшие сестру титанов Мнемозину из сознания города словесности и заселившие его классическими нимфами. И мы взглянули на водные сооружения, убирающие H₂O с глаз долой. Мы прослушали импровизации журчащих родников, продуманную симфонию фонтана Треви, а затем - гудение труб, капель кранов и

ниагару смыва. Мы поняли, что у городской воды в западной культуре есть начало и, соответственно, может быть и конец. Она рождается, когда художник приручает каждый поток римской воды к жизни в особом фонтане, где она нашептывала свою неповторимую историю грезящим горожанам, и она оказывается под угрозой, когда всасывающие ротаторы станций превращают ее в очиститель и охладитель, часть которого можно отвести в искусственное озеро. Перед нами встает вопрос о совместимости богатства и сновидений.

Теперь, оглянувшись на воды, которые текли по городам, мы можем понять их важность для сновидений. Лишь там, где в общинных водах отражались сновидения, города могли избавляться от своего хлама. Лишь воды, изобилующие нимфами и воспоминаниями, способны сочетать архетипическую и историческую стороны сновидений. В этом смысле H₂O - не вода. H₂O - это жидкость, лишенная как своего космического смысла, так и своего гения места. Для снов она непроницаема. Городская вода растлила провизию снов.